Белла Ахмадулина

Клянусь

Тем летним снимком: на крыльце чужом, как виселица, криво и отдельно поставленном, не приводящем в дом. но выводящем из дому. Одета

в неистовый сатиновый доспех, стесняющий огромный мускул горла, так и сидишь, уже отбыв, допев труд лошадиный голода и горя.

Тем снимком. Слабым острием локтей ребенка с удивленною улыбкой, которой смерть влечет к себе детей и украшает их черты уликой.

Тяжелой болью памяти к тебе, когда, хлебая безвоздушность горя, от задыхания твоих тире до крови я откашливала горло.

Присутствием твоим: крала, несла, брала себе тебя и воровала, забыв, что ты — чужое, ты — нельзя, ты — Богово, тебя у Бога мало.

Последней исхудалостию той, добившею тебя крысиным зубом. Благословенной родиной святой, забывшею тебя в сиротстве грубом.

Bella Akhmadulina

I swear

By that snapshot: on someone's summer porch, built, like the gallows, wryly and asunder, intended not to bring one in, but urge him out. In frantic satin armor

encumbering your mighty vocal chord, you are obediently sitting solo, already having sung, and having served that donkey work of suffering and sorrow.

By that snapshot. Blunt elbows of a child adorned with the expression of bewitchment by which the death seduces children's minds and then confesses in their facial features.

By that distressful memory of you, when, choked with your ellipses, dashes, colons, I, gulping down the airlessness of rue, tried hard to clear my larynx, sore and swollen.

By all your presence. I embezzled you, stole and secluded in my private storage, forgetting that you're someone's, you're taboo, you're *heavenly*, and even there in shortage.

By your emaciation at the end, that gnawing rat that led you to the bottom. And by our god-blessed holy motherland, that left you, in your orphanhood, forgotten. Возлюбленным тобою не к добру вседобрым африканцем небывалым, который созерцает детвору. И детворою. И Тверским бульваром.

Твоим печальным отдыхом в раю, где нет тебе ни ремесла, ни муки, — клянусь убить Елабугу твою, Елабугой твоей, чтоб спали внуки,

Старухи будут их стращать в ночи, что нет ее, что нет ее, не зная: «Спи, мальчик или девочка, молчи, ужо придет Елабуга слепая».

О, как она всей путаницей ног припустится ползти, так скоро, скоро. Я опущу подкованный сапог на щупальца ее без приговора.

Утяжелив собой каблук, носок, в затылок ей — и продержать подольше Детенышей ее зеленый сок мне острым ядом опалит подошвы.

В хвосте ее созревшее яйцо я брошу в землю, раз земля бездонна, ни словом не обмолвясь про крыльцо Марининого смертного бездомья.

И в этом я клянусь. Пока во тьме, зловоньем ила, жабами колодца, примеривая желтый глаз ко мне, убить меня Елабуга клянется.

By your beloved not to any good kind African, unruly and unrivaled, which on *Tverskoy*, looks after human brood. And by the brood. And by the very boulevard.

By your pathetic rest in paradise which offers neither trade for you nor torment, – I swear that your Yelabuga will die!
Old grannies, to calm down their toss-and-turny

grandchildren, will recruit her name at night, unwitting that she's finished, yet unwitting: "Sleep, naughty boy, don't move, or else that blind Yelabuga will come for you, my pretty."

O, how, in all her centipedal rush, she'll try to crawl away: evading, swerving. I'll raise my iron-shodden boot, and crush the tentacles of hers without a verdict.

The heel, the toe – I'll put my weight to use – upon her nape – and hold it longer, rougher. Her little offsprings' toxic greenish juice will singe my foot-skin through the shoe-sole rubber.

I'll throw the egg, she laid beneath her perch, into the earth, if earth is proved abysmal, not letting out a word about the porch of your addressless terminal existence.

And this is what I swear. While out of sight, by sinkhole toads, the stink of boggy barrens, espying with her squinted yellow eye, to finish me Yelabuga is swearing.